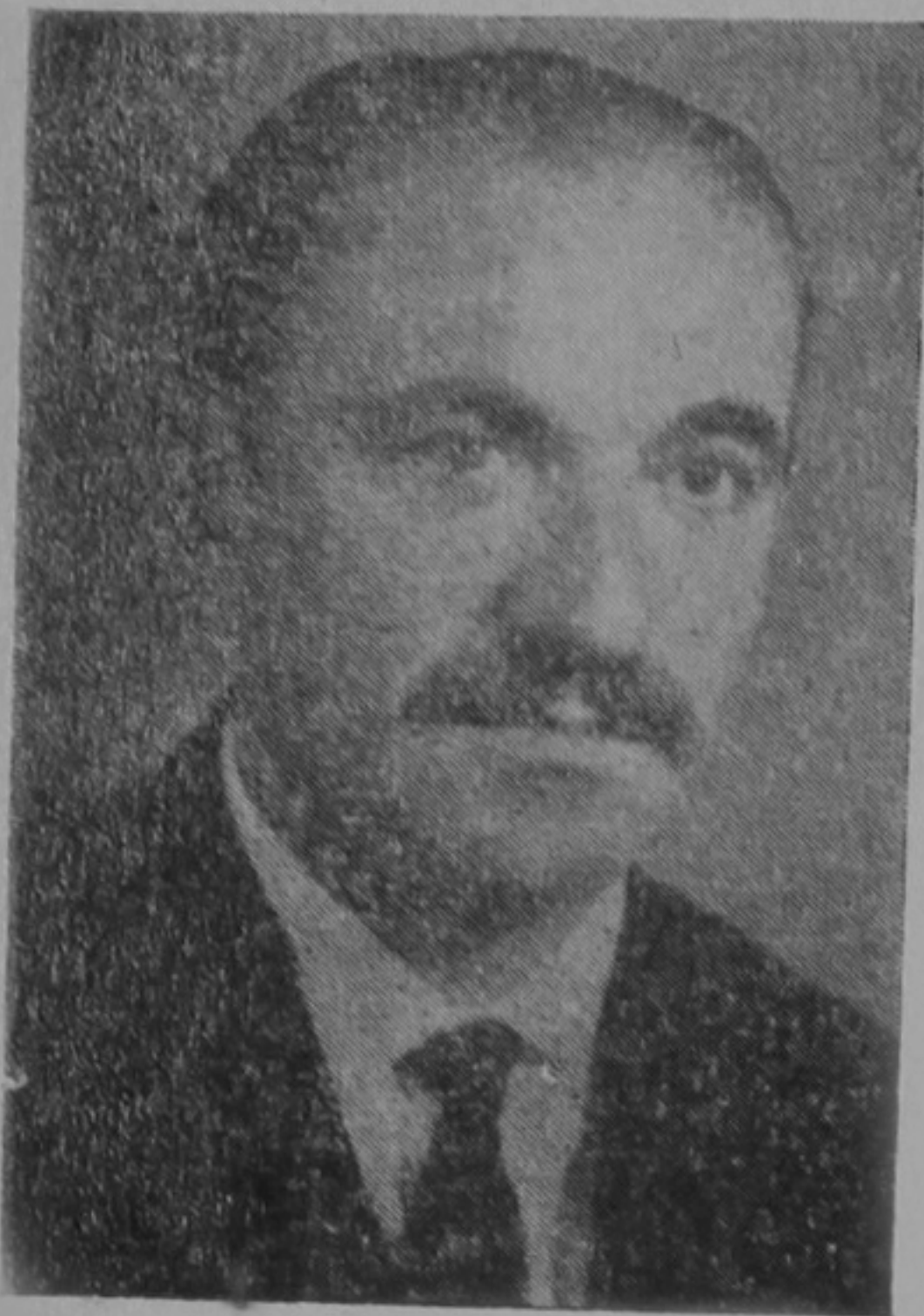




Серо Ханзадян

ТРИ ГОДА 291 ДЕНЬ

Отрывки из фронтового дневника

Воскресенье. Утро. Двадцать второе июня.

На улице мой старший брат отводит меня в сторону:

— Война началась...

Я не слышу дрожи в его голосе. Захожу в сад к моему дяде. Согнувшись в дугу, он косит серпом траву. Я сообщаю ему новость. Серп ударяется о ствол тутового дерева.

— Что?!

— Немцы на нас напали. Война...

В тот вечер брат возвращается домой очень поздно.

— Доставайте котомку, ухожу.

Мать и жена заплакали. Я кричу на них:

— Чего расхныкались? Война ведь, значит, надо нам уходить.

Мне очень хочется пойти в армию, стать военным. Наш сосед, Арам Арутюнян, ушел в армию в семнадцать лет. А мне уже семнадцать с половиной. Когда я вижу его в военной форме, места себе не нахожу.

Весной я три раза ходил в военкомат. Пообещали взять в армию, даже волосы остригли, но так ничего и не получилось.

А сейчас война. Уже год, как я работаю учителем в соседнем селе. Летние каникулы. Я собираюсь опять пойти в военкомат с просьбой отправить меня на фронт. Что с того, что мой отец в ссылке? Может, за ним и вины-то никакой нет... Но я боюсь, что если меня и призовут в армию, то все равно на фронт не отправят.

Ночь. Я с нетерпением и надеждой жду утра.

Рассвело. Я иду в военкомат. Военком смотрит на меня с недовольством.

— Опять ты? Ну, беги домой и быстро возвращайся. С трехдневным провиантом.

Дома мать заплакала:

— Что мне теперь делать?..

Откуда мне знать, что тебе делать, мама? Я хочу, чтоб меня взяли в армию.

Тесно прижавшись друг к другу, мы трясемся в кузове грузовика. Выехали из нашего маленького городка, пронеслись под старыми ореховыми деревьями.

— Назад мы не вернемся.

Я вздрогнул. Это сказал подмастерье сапожника Серож Зарелян, шустрый парнишка, всего лишь на год старше меня.

Два новобранца заплакали.

Под ногами валяются вещмешки с едой, вещмешки, поспешно сшитые из брезента, сатина и даже из простынь. Я возразил: мы обязательно вернемся назад. Но даже балагур Андраник Адонц не поверил, усомнился. А Барчик проворчал:

— Скажешь тоже...

Жара хлещет по нашим лицам, мы дышим ее пламенем. Андраник пытается запеть, но в песне его звучит плач, и Серож ладонью закрывает ему рот. Я вспоминаю, что прихватил с собой записную книжку и химический карандаш. Для чего?

Добрались до места назначения.

Нас не повезли на железнодорожную станцию. Приказали разместиться в одной из школ.

В бытность свою учителем я записывал все увиденное мною, все услышанное. Вот и сейчас я присел на подоконник, вытащил записную книжку. Но что мне записывать, для чего?

Но тем не менее я пишу...

Сегодня двадцать третье июня. Через полгода и пять дней, двадцать восьмого декабря, мне исполнится восемнадцать.

Мой фронтовой дневник я начал так.

Небо раскалено, вода тепла. Задыхаемся, как рыбы, выброшенные на берег.

Весь наш провиант мы выкинули на мусорную свалку. Курицы протухли, сыр высох. Да и кому сейчас до еды?

Привезли два эшелона солдат. Один из Грузии, другой из Шемахи.

Нас распределили по ротам и взводам. Командиром роты, в которую я попал, наш сосед Арам Арутюнян. Он лейтенант, участник финской кампании, демобилизовался два месяца назад. Арам собирался жениться, но вот снова началась война.

Нас повели в сторону горы. Горная, каменистая дорога придушена кустарником.

До места добрались в полночь. Холодно. Лежит снег, мерзнет горная деревушка. Я спросил лейтенанта, почему нас привели сюда.

— На строительстве должны работать, — ответил он. — Наш батальон строительный.

— Что?! — испугался я. — Значит, мы не настоящие солдаты?

Он не ответил.

Здесь нет деревьев, голое ущелье меж высоких гор.

Принесли палатки, устроились на ночлег.

Мы роем землю, старую узкую дорогу расширяем, бараки строим. Я тоже копаю землю.

Меня вызвали к лейтенанту.

— Ты будешь нашим ротным писарем, — сказал он. — И почтальоном. И заведующим красным уголком. Ясно?

И я больше не хожу копать землю.

Ночь. Мы на марше. Я подавлен. Какая-то болезненная дремота охватывает меня, убийственно мрачная отчаянность. Но это не вызывает во мне даже страха. Значит, это и есть воинская служба, к которой я так стремился. Душа словно отделена от тела. Будто я девяностолетний старец.

Скучаю по нашему саду, по той школе, где я учительствовал. Сердце разрывается. Но ничего поделать не могу.

Сегодня шестнадцатое июля. Через пять месяцев и двенадцать дней мне исполнится восемнадцать.

Прямо с марша нас отправили на вокзал. Эшелоны стоят на берегу речки, провонявшей нефтью и нечистотами. Старые товарные вагоны в грязи. Втискиваются в них рота за ротой.

На перроне какая-то женщина рвет на себе волосы:

— Братец ты мой!..

Вдруг я узнаю ее, это моя двоюродная сестра Ареват. Давно вышла замуж, живет здесь. Обняла она меня, присела на камень.

— Тебя-то куда забирают?.. Ребенок ведь еще...

Приказали и нам грузиться в вагоны. Ареват уцепилась за меня:

— Тебя-то куда забирают?..

Она осталась сидеть на камне, разбитая, рыдающая. Значит, действительно, мы можем и не вернуться... Грохот поезда заглушил ее плач.

Наш эшелон ползет по левому берегу Аракса. Ползет медленно, припав к земле, словно страшится выжженной пустыни. Моя рука обжигается, коснувшись металлической задвижки.

Стонут, скрипят колеса. Неужели им так тяжело? Ребята лежат на двухъярусных нарах, тесно прижавшись друг к другу. Сидеть невозможно. Только Серожу это удастся — он коротышка.

Беседуют ребята, говорят о чем-то, а о чем — не разберу. Едем, куда едем? Ах, да — война. Наш политрук — тоненький парень с чуть хрипловатым голосом. Я спрашиваю его, почему нам не выдают оружия.

— Молчать! Вопросы задавать не разрешается!

— Почему? — спрашиваю я. — Потренировались бы. Весь день сидим без дела.

Политрук развел руками, ушел.

Серож дал мне кусок пирога:

— Домашний... Только этот и остался...

Пирог — как камень наших гор. Жую кое-как.

Сегодня девятнадцатое июля. Политрук сообщает, что наши войска ведут тяжелые бои за Киев. Серож смотрит на мои ноги.

— Сними ботинок, залатаю...

В Махачкале нас повели поест в какую-то воинскую часть. Впервые ем рыбный суп. Впервые вижу мороженое мясо. Удивляюсь. Разве съедобны эти бревна? Серож смеется:

— То ли еще увидишь...

Мне жаль Серожа... Такой он маленький!

Грохочет поезд.

Переехали Волгу где-то в районе Саратова.

Каждый день посылаю домой письма. Хоть одно из десяти дойдет. И Барчик тоже пишет.

— Ах, мамочка...

Серож не пишет. Я уговариваю его написать хоть одно письмо. Не пишет.

— А что писать?..

На каком-то полустанке он раздобыл смазочное масло.

— Смажьте башмаки, растрескались.

Бесконечная, беспредельная пустыня. Едем, едем, едем...

Остался позади Чкалов. Здесь умер и похоронен Ваан Терян.

*Дни пришли, и ушли эти дни — для меня ничего не осталось.
Дуги радуг, огни да огни — для меня ничего не осталось.*

Барчик вздохнул, Серож ухмыльнулся:

— Что ты там бормочешь?

Жара невыносимая. Губы Барчика растрескались от жажды. Пьем воду, как объевшиеся соли лошади. Серож кричит:

— Не пейте эту воду, в ней микробы кишмя кишат!

На одной из станций он притащил ведро кипяченой воды:

— Вот эту пейте. Здешнюю сырую воду пить нельзя.

Серож спас нас от дизентерии.

Прекрасен закат в пустыне. Наслаждайся...

Сегодня двадцать восьмое июля. Через пять месяцев и один день мне исполнится восемнадцать.

Добрались до северного берега озера Балхаш.

Пыльная здесь жара. Небольшой город металлургов Балхаш задыхается на берегу озера, словно заполненного кипятком.

Нас разместили в одноэтажных бараках. Слим, разостлав шинели на полу.

Роты отправляются работать на медные рудники и медеплавильни. Артист Хачик Мкртчян у нас за повара, сапожник Серож работает санитаром, Саша Минасян чинит электропроводку, вздыхает:

— Совсем не устаю...

Андраник налаживает на ремне бритву, полученную им в наследство от отца-парикмахера.

— Работенка-то у меня царская!

Кого жалко — так это Барчика. Приходит с рудников усталый, изможденный. Лейтенант Арутюнян пожалел Барчика, отправил его на кухню хлеб нарезать.

Здесь совсем недавно посадили деревья, разбили жиденский парк. Нас отвели в баню, после чего разрешили до одиннадцати часов гулять по парку.

В парке несметное количество девушек. Поспешно эвакуированные из западных областей страны, они гуляют сейчас по парку в легких летних платьях, обаятельные, свободные и манящие. Мы смешались с толпой. Я выбрал голубоглазую девушку с золотистыми волосами.

— Меня зовут Шура, — сказала она.

Белая лилия, стройная и высокая.

Гуляем по аллеям. Шура щебечет, как лесная птица. Шура плачет.

— Там, в Смоленске, совесть свою оставила я...

Вкуса айзы шурины губы...

— Шура...

— А?

В часть возвращаюсь поздно. Опускаюсь на пол рядом с Серожем. Он толкает меня в бок:

— Чего плачешь?

Я плачу. Перед глазами в тумане далекая чистота наших гор.

— Господи, прости, прости...

В моих ушах звенит голос Шуры.

— А?..

Море плещется рядом, и Шура — мое утешение. Горяч песок.

Ночь. Я говорю Шуре:

— Завтра мы уходим.

Она вздрагивает:

— А писать хоть будешь?

— Нет. Прости меня, Шура, прости...

Ее голубые глаза наполняются слезами, и в них я вижу свое растерянное лицо.

— Прости, прости...

Утро. Мы уезжаем. На вокзал приходит и Шура.

— Мы встретимся.

Я пожимаю плечами: как знать, встретимся ли? Она упрямо смотрит на меня:

— Встретимся.

Из Балхаша нас переправляют на север, в Караганду. Комиссар нашего полка вызвал меня к себе. Я сжимаю шурины плечи и бегу на вызов.

Сегодня девятнадцатое августа. Через четыре месяца и девять дней мне исполнится восемнадцать.

Комиссар повел меня к стоявшим поодаль грузовикам.

— Полк отправляется поездом, в Караганде будут через девять дней. Я на машинах везу в Караганду продовольствие. Поедешь со мной, готовься.

А что солдату готовиться? Скатай шинель, закинь вещмешок за спину и — вперед.

Полдень. Выехали на грузовиках из Балхаша. Я стараюсь не думать о Шуре. Встретимся... Наивная девушка... Где это мы встретимся?

Комиссар назначил меня своим помощником. Машины мы взяли с медеплавильного комбината, загрузили их продовольствием: мукой, маслом, зерном, макаронами, сахаром и прочей едой. Комиссар мне сказал:

— За два дня мы должны добраться до Караганды, найти жилье для полка, испечь хлеб.

В каждом грузовике по четыре солдата: два повара, два пекаря.

Только мы выехали из Балхаша, как комиссар неожиданно остановил караван, взгляделся в желтый горизонт пустыни и сказал мне:

— Послушай, я должен вернуться. Начальником каравана назначаю тебя. Доберетесь до Караганды, будете там нас ждать. Ясно?

— Слушаюсь. Где вас ждать?

— Во дворе военкомата. Они знают.

Он сошел. Я сел на его место, в кабину головной машины, рядом с водителем.

Колонна двинулась вперед. Водитель головной машины, русский, лет тридцати пяти, в гражданской одежде. Лицо его выжжено пустыней. В кузове он везет в Караганду жену и двоих детей. Почему?

— В Караганде родственники наши живут. Сдам им на руки. Не сегодня—завтра и меня остригут.

Едем по пустыне на север от Балхаша.

Водителя зовут Сергей. Я спрашиваю его, когда мы доберемся до Караганды. Он ухмыляется:

— Может, и вообще не доберемся.

— Как так?

— А вот так. Пустыня ведь, бездорожье. Нюхом должны добираться, через пески. А если ветер поднимется — господи, прости и помилуй! Я по этим местам только один раз пробирался. До Караганды семьсот километров, на два дня пути — если ветра не будет, если с дороги не собьемся, если...

— А как же вы детей своих такой опасности подвергаете?

— Что дети... — вздохнул он. — Война.

Я удивляюсь: почему эти взрослые так боятся войны? Где она, эта война? Я тоже должен увидеть ее, узнать, что это такое...

Над пустыней опустилась ночь, низкая, мрачная. Сергей говорит:

— Поедем дальше, сейчас хоть немного прохладнее.

Моноotonно гудит машина, словно едет сама по себе. Пустыня, бескрайние пески. А «дорога» — чуть твердый наст песка — едва различима в крошечной мгле. Выжженная пустыня дышит жаром раскаленного песка. Ужас внушает песок своей мертвой бесконечностью. И кажется, будто рыжие тигры прячутся в складках между барханами. Вот-вот пробудится пустыня и ревом своим сокрушит мир.

Спать хочется. Чтобы не дать Сергею уснуть, я рассказываю ему разные истории о наших зеленых прохладных горах. Время от времени Сергей останавливает машину и, высунувшись из кабины, оглядывается назад. Вдали светят фары идущей вслед за нами машины.

Полночь. За нами больше не видно света фар. Куда исчезли машины?

Рассвело. Выяснилось, что мы сбились с пути. Вокруг, куда ни глянешь, безлюдная выжженная пустыня, и намека нет на то, что хоть раз здесь ступала нога человека. Сергей огляделся по сторонам и схватился за голову.

— Беда, беда!

Потом он обратился к жене:

— Давно исчезли машины?

— Где-то в полночь... А что случилось?

— С дороги сбились.

— Что?!— испугалась женщина.

Сергей устало опустился на песок. Проснулись дети, попросили воды. Отец закричал на них:

— Замолчите! Откуда мне взять воды?!

У наших поваров был бидон воды. Я велел им заварить чай и приготовить кашу. Они разожгли костер, а мы с Сергеем рыскали вокруг в поисках дороги. Но где найти ее, эту дорогу? Кругом мертвая пустыня, ни души.

Обжигаясь, быстро проглотили кашу и чай, погрузились на машину и вернулись обратно по своим следам. От жары детишки бредят. Мне грустно.

Проехали около ста километров и увидели следы от колес других машин. Они повернули налево, а мы — направо. Развернулись и поехали по их следам. Сергей никак не может простить себе.

— Ну и дурак же я, и зачем только повернул направо?..

А мне становится все страшнее. Что если машина испортится? Мне кажется, что этот тяжелый, стонущий грузовик вот-вот задохнется.

Сегодня двадцать седьмое августа. Через три месяца и один день мне исполнится восемнадцать.

Утро. Добрались до какого-то поселения. Шатры кочевников да два низеньких строения из необожженного кирпича. У одного из строений стоят наши машины. Но их не семь, а всего пять. Я подбегаю к солдатам, спавшим в тени.

— Где остальные машины?

Один из солдат-пекарей поднялся.

— Испортились. Остались в пустыне.

Я с отчаянием посмотрел на спящих.

— А где шоферы и солдаты?

— Здесь, с нами. Мы забрали их.

Я не знаю, что делать. Мысленно ругаю нашего комиссара, который не поехал с нами, а поручил колонну мне. Что я могу поделать? Под моим началом тридцать два солдата, восемь водителей и шесть машин. Что делать, какое принять решение? В жизни еще никогда не отдавал приказаний, не командовал. Я даже не сержант, а всего лишь рядовой. В растерянности подошел к Сергею.

— Две машины в пустыне остались.

— Ты об остальных позаботься,— сказал он.— Думаешь, эти спасем?

По совету Сергея я отправился к местному военкому. Он выслушал меня с сочувствием.

— Есть у вас продовольственный аттестат?

Впервые слышу об этом. Выяснилось, что комиссариат обязан нас кормить, если у нас есть аттестат. Я попросил помочь нам испечь хлеб из нашей муки. Военком не отказал, тут же отправил два мешка муки в пекарню.

— Послушайте,— сказал он мне,— вы назначены командиром, так возьмите все в свои руки и постарайтесь самостоятельно решать вопросы.

Я накормил солдат и отдал свое первое распоряжение:

— Готовьтесь к отъезду.

А водителям я велел не отставать, идти колонной.

Солнце, август, пустыня... Сергей говорит, что километров через сто пятьдесят будет колодец.

Еще одна машина испортилась. Я отдал свой второй приказ: перегрузить продовольствие на остальные машины. Так приятно приказывать.

Осталось пять машин. Интересно, накажут ли меня за застрывшие машины?

Вечер. Подъехали к колодцу. Ни деревца, ни травинки, ни даже верблюжьих колючек. Прямо у обочины дороги глубокий колодец, стены его выложены прутьями. Я нагнулся и увидел свое отражение глубоко внизу в маленьком круглом зеркальце.

Напились воды и с собой прихватили.

Двинулись в путь. Перед глазами моя мать. Я солдат, в пустыне, и по земле идет страшная война. Чем все это кончится?

Сергей спрашивает меня:

— Есть у тебя мать?

— Есть.

Он умолкает. И почему он спросил об этом? Неужели моя мать напрасно ждет моего возвращения?

Идем навстречу пустыне и ночи. Я дремлю и — о чудо! — вижу во сне Аветика Исаакяна. Он целует меня в лоб, говорит какие-то добрые слова. И вижу я еще караваны верблюдов. Меня будит Сергей.

— Не спи. Когда ты засыпаешь, и меня ко сну клонит.

А мысль моя следует за караваном:

*И караван, стозвучно звеня, свой путь продолжал,
визжа, как змея.*

*Спокойно и стройно к пустыне нагой он шел все вперед
в золотые поля.*

*Казалось, рыдали в ночи бубенцы и звонкие слезы
по капле лились...*

Вышла из строя еще одна машина. Оставляем ее в пустыне, едем дальше.

Низко повисло небо серо-желтых тонов. Бьется о нас жар, истощаемый песками. Сергей меня обнадеживает:

— Километров через сто будет оазис.

Эти сто километров кажутся мне дорогой на край света. Целая вечность нужна, наверное, чтобы добраться до оазиса.

— А нам везет,— говорит Сергей,— ветра нет.

А я хочу, чтоб поднялся ветер, хочу увидеть песчаную бурю.

Полдень. Сухо во рту, от жажды потрескались губы. Вдали виднеется какая-то черная полоса — оазис.

Сегодня третье сентября. Через три месяца и двадцать пять дней мне исполнится восемнадцать.

Еще одна машина сломалась. Оставили и ее, поехали дальше.

Едем очень медленно. Машины старые, с залатанными покрывками. Часами простаиваем, чиним. И нет ни одной встречной машины. Все та же пустыня со своей знойной таинственностью.

На следующий день оставляем в пустыне еще две машины вместе со всем их грузом.

Только машина Сергея пока на ходу.

Добрались до оазиса. Здесь есть овцеводческий совхоз. Остановились у одного из барачков. К нам подошел русский мужчина.

— Чем могу помочь вам, солдаты? Я директор здешнего совхоза.

Мы попросили испечь хлеб из нашей муки. Он с радостью согласился. Ветеринар совхоза — казах — отвел меня в свою юрту. Его мать приветливо встретила нас у порога. Пол юрты застлан зелеными коврами. Мать подложила под локти мне и своему сыну приятно пахнущие мутки, расстелила на ковре белую скатерть. У нее руки маленькие, чистые и добрые. Сначала она подала мне ароматный чай, чтобы согнать усталость, затем — плов с мясом. Блюда и стаканы сверкали чистотой. Она спросила меня о чем-то, сын перевел:

— Есть у тебя мать?

— Есть.

— Ай, ай... На войну идешь?

— На войну.

— Ай, ай...

Мать-казашка пожелала мне доброго пути, и в ее устах это прозвучало, как молитва.

Приехали в карагандинскую степь. Пустыня осталась позади. Можно и передохнуть. Вечером встретились с военным патрулем.

— Десять дней вас ищем, — сказал капитан. — Где вы пропадали?

Капитан отвел нас в свою часть, мы выкупались, поели. Здесь я впервые увидел генерала. Он усмехнулся:

— Э-э, робинзоны, заблудились? Людские потери есть?

— Нет.

— Молодцы.

Он дал нам проводников, и на следующий день мы уже были в Караганде, в нашей части. Серож протянул мне стакан.

— Выпей, это водка. Ты с того света вернулся.

Впервые в жизни я выпил водку. Но у Серожа было еще кое-что припасено для меня.

— Твоя Шура здесь.

— Что?!..

Серож показал на небольшой деревянный домик со знаком красного креста над дверью.

— Санитарка она в медпункте. Когда в Балхаше грузились на поезд, она принесла из комиссариата повестку, присоединилась к нам.

— С ума сошла...

Серож пожал плечами.

— Кто ее знает...

Я уже не вспоминал о мучениях в пустыне. Зачем сюда приехала Шура? Деревянный домик медпункта вспыхнул жарким пламенем.

Я побоялся подойти к нему — обожгусь...

Сегодня двадцать первое сентября. Через три месяца и семь дней мне исполнится восемнадцать.

Наш батальон разместился в пригороде Караганды. Прямо в степи разбили длинные палатки. Только домик медпункта построен из дерева. Там Шура. Я вижу ее очень редко.

И здесь мы роем землю — фундамент под большой завод. Вечерами, после тяжелой работы, садимся у наших палаток и распеваем тоскливые песни.

В небольшой палатке разместили избу-читальню. И снова я ее заведующий. Я разукрасил палатку лозунгами, плакатами, книгами. Начал издавать стенную газету на четырех языках: армянском, русском, азербайджанском и грузинском. Наш комиссар всем этим очень доволен.

Ко мне подошел солдат.

— Бумаги на закрутку дашь?

Это — высокий мужчина лет тридцати пяти. В его глазах какой-то непонятный страх, в голосе — неуверенность. Я дал ему целую газету. Он удивился.

— Ишь ты, какой богатый!..

— Не очень, — сказал я, — но ты мне понравился.

Он усмехнулся:

— Моя фамилия Сахнов, запомни, может, когда-нибудь понадобится. Я в бригаде штукатуров.

— Это твое ремесло?

— Нет, у меня совсем иное ремесло. А штукатурить я просто научился. Это тоже дело.

Он показался мне каким-то странным.

Захожу к Шуре в медпункт.

— Голова что-то разболелась...

Но Шуре понятна моя уловка. На ней белый халат, белая кофточка.

— Наглotalся пыли в пустыне?

В ее голосе тревога.

— А ты, — спрашиваю, — зачем пошла в армию?

Она в упор посмотрела на меня:

— А что мне в тылу делать... Голова болит?

— Нет.

— А желудок?

— Нет.

Я долго смотрю в ее голубые глаза.

— Нигде у меня не болит, и в твоей помощи я не...

Она прижимает ладони к лицу. Я ухожу.

Зачем нас призвали в армию, если не дают оружия, не готовят к войне? Ведь немцы уже взяли Киев, дошли до Ленинграда и продолжают продвигаться вперед. Мое страстное желание — бороться с фашистами — не сбывается. Говорю Сероже:

— Я хочу на фронт, Серож.

— Я тоже, — неожиданно отвечает он. — Но нас не пошлют.

— Почему?

Он пожимает плечами:

— Откуда я знаю?..

Холода наступили рано, очень рано. По ночам мерзнем в палатках. Иногда Шура приносит мне спирт. Разбавляет его водой, протягивает стакан:

- Пей.
— Это молоко?
— Пей, согреешься.

Я привыкаю к водке, к спирту. Шура требует, чтобы по утрам и вечерам я обтирался холодной водой.

Я с удовольствием следую ее совету. Но мне все равно холодно. Пишу письмо матери: «Дорогая мама, пришли мне теплую стеганку. И носки свяжи, если есть шерсть».

Я несу свой паек хлеба на черный рынок, что у вокзала, и обмениваю его на вату. Сошью себе стеганку, надену, чтоб спина не мерзла. Я хотел отдать вату Шуре, чтобы она сшила, но испугался. Шура смотрит на меня с такой грустью, с такой жалостью, что просто плакать хочется. Распорол я одну из своих сорочек и с большим трудом, кое-как подстегнул вату — получился жилет-стеганка. Надел, и спине сразу стало тепло. Такие же стеганки я сшил для Андраника и Барцика. Только для Серожа ваты не хватило.

Встречаю Сахнова.

— Не мерзнешь? — спрашивает он.

— Пока тепло.

— Нагревай кирпич, ночью ставь в ноги, — советует он. — Портянки держи сухими и чистыми. Настоящие морозы еще впереди.

Сегодня первое октября. Через два месяца и двадцать семь дней мне исполнится восемнадцать.

Работать на морозе — беда одна. Мы — парни-южане, руки мерзнут, уши и носы отмораживаются. Сшил я себе из тряпок перчатки, по утрам раздеваюсь по пояс, обтираюсь снегом, как советовала Шура. У Шуры есть опыт: она старше меня на три года, да к тому же — северянка.

Мы сами вырыли себе землянки, ушли из палаток.

Как и раньше, мечтаю попасть на фронт. Здесь, в тылу, и тело, и душа мои унижены. Не человеком я себя чувствую, а никому не нужным, ничтожным существом. Время от времени Шура приносит мне спирт, подбадривает меня. Но мне ничего уже не нужно. Я погибаю.

В городе полно беженцев из западных областей страны. За ломоть хлеба, за кусок сахара они готовы продать все — костюмы, кольца, часы...

Из дому я взял с собой две книги: «Песни и раны» Исаакяна и сборник «Западноармянские поэты». В записной книжке уже нет места. Я отправил ее почтой домой, матери. Сейчас свои записи делаю на полях «Песен и ран». Смерти не боюсь. Но хуже смерти мое положение. Кому нужно это жалкое существование...

— Я ухожу, — говорит мне лейтенант Арам Арутюнян.

— Куда?

— На фронт.

Молитвенно смотрю на него. Он весело собирает свои вещи. Осанка у него стройная, воинственная, сверкают пуговицы, блестят сапоги. Он отдает мне свою куртку, черные штаны и смену белья.

— На память обо мне.

Я совсем осиротел.

— Значит, уходите?..

— Страна в опасности, надо идти. Немцы продвигаются все дальше. Надо идти.

— А как же я? — кричу в отчаянии. — И меня возьмите с собой, возьмите!

Он мрачно смотрит на меня.

— Там смерть на каждом шагу.

— Возьмите меня, — прошу я его. — Здесь ужасно! Возьмите меня...

— Это от меня не зависит.

Получил письмо от Арама Арутюняна из Чкалова: «Меня произвели в старшие лейтенанты и назначили командиром батареи. Отправляемся на фронт».

Морозы усиливаются. Арам ушел на фронт защищать родину. А я мерзну в этой вонючей землянке.

После отъезда Арама командиром нашей роты назначили одного старика из местных. Он закрыл мою избу-читальню.

— Какие там книги, какие газеты, иди землю копать.

И я пошел копать землю.

Работаю на бетономешалке. Стараюсь не отморозить лица и рук. Шура тревожится:

— Ты хилый такой, не выдержишь.

— Что будет, то будет, — отвечаю я.

Она сказала, что попросит главврача взять меня на медпункт санитаром. Я нахмурился:

— Не смей! У меня своя судьба.

Шура заплакала.

На кухне Сахнов обнял меня за плечи, повернул к себе.

— Нос-то как побелел! Отморозишь...

Он вывел меня наружу и долго до боли тер мне снегом нос.

— Ну вот! — обрадовался Сахнов. — Твой нос спасен. Ты, как я погляжу, парень тепличный. Послушай, сынок, ты когда-нибудь штукатурил?

— Нет.

— Тьфу! — рассердился он. — Хотя бы соври. Не велика наука — штукатурить. Вот что, я бригадир штукатуров, нас шестнадцать человек. Попрошу командира роты, чтоб тебя передали мне. Если спросит, какой у тебя разряд, скажешь — шестой. Понял, сынок? Работаем в здании и гажу разводим теплой водой. И нос твой целехоньким останется.

Сахнов сдержал свое слово. Командир роты отправил меня в его бригаду. Работаем в новом большом здании. Уже и крыша есть, и стекла вставлены. Вода здесь не замерзает.

— Ну, — сказал Сахнов, — держись, сынок, учись ремеслу. А войне еще конца не видать.

Он дал мне инструменты.

— Смотри на меня и делай то же самое.

Из кожи вон лезу — штукатурить учусь.

Сахнов старше меня на восемнадцать лет. У него крепкое тело, доброе лицо, глаза вечно улыбаются.

Сегодня двадцать пятое ноября. Через месяц и три дня мне исполнится восемнадцать.

Уже месяц, как я работаю штукатуром. На доске почета строителей рядом с фамилией Сахнова стоит моя и число «200». Это означает, что дневную норму я выполнил на двести процентов. Нам дают по пятьсот граммов хлеба. Сахнов похлопывает меня по плечу.

— Ну как, культурник, доволен?

Нет, я не доволен. Меня опять тянет на фронт.

Нас неожиданно вызывают в часть и приказывают собираться. Перебираемся в Челябинск. Всем батальоном, конечно.

Челябинск — город большой, над ним туча стоит — дым заводов. По улицам, грохоча, проносятся пустые трамваи, ветер хозяйничает на мостовых. Нас повели на завод, дали в руки лопаты и кирки, сгрузили бревна и доски, приказали:

— Стройте для себя казармы.

А земля на метр в глубину промерзла. Топорами ее рубим. К счастью, неподалеку были навалены горы угля. Каждый взвод вырыл для себя землянку. Когда наши чугуны раскались, балки над головой запотели, земля размякла и мокрым песком потекла на наши головы. Не беда, лишь бы тепло было.

Меня вызывает наш комроты.

— Послушайте, вы грамотный?

— Да. Год работал учителем.

— Комсомолец?

— Да.

Он отвел меня в одну из канцелярий гигантского завода и представил седовласой мягкой женщине.

— Я вас беру к себе в помощники.

Она меня назначила раздатчиком хлебных карточек. После подробного инструктажа она положила передо мной лист чистой бумаги и продиктовала:

— Если разглашу государственную тайну, подлежу смертной казни.

Я написал и поставил подпись.

Место у меня теплое, работа чистая. Слава богу!

Комроты спрашивает меня:

— Ну как, доволен?

Нет, я не доволен. Меня опять тянет на фронт.

По дороге с завода мне повстречалась женщина с красивой девочкой, улыбнулась, спросила:

— Махорочки не найдется, солдатик?

Нашлась. Я дал ей на одну закрутку. Махорка — товар дефицитный, одну коробку можно обменять на золотое кольцо. Женщина сказала:

— У вас здоровый вид, солдатик.

— Да, — ответил я, — не голоден.

— Вечерком зайдите ко мне. Вон тот черный барак. У нас с дочерью есть отдельный уголок. Моя дочка чудесно поет. Придете?

Ее дочь смотрела на меня улыбающимися, но голодными глазами. Я поспешил уйти. О господи, убереги меня от соблазна.

Я не услышал песни той красивой девочки.

Сегодня день моего рождения — двадцать восьмое декабря.

Вошел в нашу землянку. Там увидел ладно одетого офицера. Отдал честь. Ни словом не обмолвился о дне рождения. Сейчас дни боли, дни стужи — чему и как мне радоваться? Ничего не сказал и Шуре.

Я спросил у ребят, зачем приходил офицер в нашу землянку. Мне ответили, что офицер набирает солдат для отправки на фронт. Я онемел от радости.

— Около пятидесяти человек набрал, — сказал Серож. — Я тоже записался, и Сахнов... И даже Шура.

Мне показалось, что сразу потеплело. Я бросился вдогонку за офицером. Он был в землянке у комиссара. Задыхаясь, ввалился, вытянулся в струнку.

— Товарищ военком, у меня к вам просьба...

Утром собрались в назначенном месте. Сахнов помахал мне рукой:

— Уходим, сынок, уходим...

Какой-то лейтенант зачитал наши фамилии, мы стали в строй и пошли за ним.

Не чувствую холода. Где Шура? Ведь она тоже записалась добровольцем. Мне сказали, что одну группу отправили еще ночью. Значит, Шура в той группе.

По вине сопровождающего нас лейтенанта мы должны шесть часов ждать на вокзале — опоздали на поезд. Это ожидание ужасно. Мне страшно — а вдруг нас вернут обратно, втиснут снова в эти вонючие землянки...

Ночь. Формируется новая дивизия. Нас распределили по полкам. Через полчаса меня, Сахнова, Серожа и еще нескольких из нашего батальона отправляют в деревню.

Шагаю по снегу, хорошо мне, собственным дыханием согреваюсь. Теперь я настоящий солдат, настоящий человек.

Шуру я так и не увидел. Может, ее отправили в медсанбат дивизии или же в другую часть. Я вдруг затосковал по ней: очень сух был с ней, очень груб...

Серож посвистывает. Кажется, он стал выше ростом, и голос вроде бы окреп.

— Наконец-то, наконец-то...

Типичная уральская деревня, в кольце лесов. Видны редкие электрические огни, слышен хриплый недовольный собачий лай.

Нас поместили в деревянном здании амбулатории. Кто-то занял:

— Коек нет...

Сахнов засмеялся:

— Вшей разводить захотелось? Здесь тепло, заснем, как медведи.

Утро. Пришел познакомиться с нами майор — командир полка. Это высокий мужчина с четкой военной выправкой. Мы друж-

но ответили на его приветствие. Он присел на подоконник, испытующе посмотрел на нас.

— С оружием знакомы?

— Нет.

Он помрачнел. Нас распределили по ротам. Меня, Серожа и Сахнова он словно и не заметил. Меня охватил страх — неужели все то же недоверие? Но когда наши товарищи разошлись, майор обратился к нам:

— Вас я отправлю в минометную роту. Минометы — оружие новое, сложное, здесь нужны люди грамотные.

Когда мы шли к месту назначения, Сахнов сказал:

— С чего это майор решил, что я грамотный человек? У меня всего шесть классов образования...

— Лучше не упоминать об этом, — сказал я. — Ты солдат Красной армии, главное это.

Командир минометной роты — лейтенант. Он очень внимателен к нам. Сапоги его сверкают, на нем кожаная портупея, на ремне бляха со звездой. Особенно нравятся мне его планшет и пистолет. Я мечтаю стать именно вот таким военным. Он нам сказал:

— Через два дня получите оружие. Побрейтесь.

— А есть здесь парикмахерская? — спросил я.

Он укоризненно посмотрел на меня:

— Солдат должен бриться сам. Раздобудьте бритву и через час, бритый, явитесь ко мне.

Как побриться? Я никогда не брился. Сахнов дал мне свою опасную бритву. Я попросил, чтобы он побрил меня, но он отрицательно покачал головой:

— Лейтенант сказал, чтоб ты сам побрился.

И я на собственной коже провел эту незнакомую для меня операцию. Я безжалостно скреб свое лицо, оставляя на нем много порезов, и наконец облегченно вздохнул. Пошел, представился лейтенанту.

— Сами побрились? — спросил он. — Молодец!

Это было первое поощрение от начальства.

А Серожа раздобыл для меня бритву и прибор.

Сахнова назначили заряжающим, меня — наводчиком, Серожа — подносящим мины. Все трое в одном расчете.

Минометы — оружие новое, даже сержант, командир нашего расчета, не знаком с ним. Сахнов встал над еще не собранным минометом и развел руками:

— Что теперь мы должны делать? Почему меня назначили заряжающим?

Вместе с минометом мы получили сопроводительный паспорт. Я принялся читать его, одновременно изучая детали. Сахнов и Серожа помогали мне. Нам удалось из трех основных частей и массы мелких деталей собрать миномет.

Через три дня Сахнов и я в присутствии всей нашей роты испробовали миномет. С третьего выстрела мы уничтожили условную боевую точку в двух километрах от нас.

Хорошее оружие миномет, только очень тяжелы его части: ствол, основание... Я как наводчик таскаю на себе ствол весом в тридцать пять килограммов. Иногда совершаем марши по пятидесяти-шестьдесят километров в день. Ствол на плече. Да еще винтов-

ка, лопатка, противогаз и всякое такое. Что ж — обычная солдатская жизнь.

Я, наконец, стряхнул со своих плеч бремя гнетущего меня позора. Сейчас я чувствую себя человеком, с достоинством держащим в руках оружие.

Едем на фронт. Я рад безмерно.

Сегодня двадцать восьмое февраля. Уже два месяца, как мне восемнадцать.

Проехали Свердловск, Казань, въехали в Москву. В широко распахнутые двери вагона смотрю на занесенные снегом пригоры, на купола церквей, пытаюсь найти Кремль.

Еще стоят оборонительные сооружения и бетонные дзоты, зияют рвы. Совсем недавно тут шли кровавые сражения. Москва титаническими усилиями отбросила фашистские орды от своих стен. Москва победила. И город-богатырь сейчас залечивает раны.

К нашим вагонам подошла группа школьников. Лет на десять повзрослевшие, лица бледные. Они подарили нам папиросную бумагу, карандаши, тетради... и попросили хлеба и сахара. Нас это обескуражило — значит, эти дети голодают, значит, голодает Москва. Весь наш скудный паек мы отдали им.

Ночь. Идем по прифронтовой дороге. Это Калининская область. Еще свежи следы войны. Целых два месяца был оккупирован Калинин. Целых два месяца фашисты насаждали здесь «новый порядок» — жгли, разрушали, убивали.

Наш полк разместился неподалеку от линии фронта в деревне Красный холм.

Начало марта.

Наш расчет поселился в маленькой деревянной избушке. Хозяева ушли на кухню. Хозяйка — молодая женщина. Чем-то она напоминает Шуру. Где сейчас Шура, помнит ли меня? И вдруг мне становится смешно: нашел время для сентиментальности.

В нашу комнату входит хозяйка:

— Ничего у меня не просите... Нет у меня ничего, даже соли нет, ничего нет...

От нее несет коровой и скошенной травой. В ее глазах слезы, в голосе — жалоба.

Мы у нее ничего не попросили.

В тот вечер я выпил свой чай с сухарем, а свою долю сахара, два кусочка, отдал хозяйке. Она почти выхватила их из моих рук.

— Все равно, ничего я тебе не могу дать.

Ее золовка баюкает младенца и горестно напевает:

*Люли, люли, люлиньки,
Прилетели гулиньки,
Вот веселый пастушок
Заиграет во рожок...*

Эта горестная колыбельная засела у меня в ушах. Не знаю, забуду ли ее?

Уже семь дней мы на марше.
Малая Вишера... Этот небольшой городок сожжен дотла. Два

месяца назад наши войска после тяжелых боев выкинули отсюда противника. На железнодорожной станции валяются разбитые паровозы. Снег здесь кое-где еще сохранился, но он весь черный, в копоти. И трупы захороненных солдат — и наших, и немецких. Один труп наполовину в сугробе. Сахнов подтолкнул меня:

— Посмотри.

Череп трупа белый. Солнце упало на него, и желтоватая вода стекает с черепа на снег. Я отвернулся, но... куда ни глянь — везде трупы. Серож сзади вздохнул. Коля спросил:

— Это наши или фашисты?

Ему никто не ответил. Не знаем.

Ночь. Привал на опушке леса. Приказано костров не разжигать, курить лишь в рукаве. Горячей пищи нет. Жуем сухари, заедаем снегом. Вспомнил наказ Шуры:

— Пей только кипяченую воду.

А где тут найти кипяченую воду?

Днем растаявший снег схватило морозом. Стоим на льду. Спать хочется, но как уснешь на льду? Ноги дрожат. Делать нечего, улеглись на лед, прижавшись друг к другу, дыша друг другу в затылки. Вот примерзну ко льду, и больше меня от него не оторвать.

В небе появился самолет. Его красные огни и зловещий гул страхом наполнили наши сердца. Сейчас сбросит этот хищник свой страшный груз прямо на меня. Максимов шепнул на ухо:

— Ты боишься?

— Да. А ты?

— Я трупов боюсь.

Я тоже. Темно. Трупы воют, хохочут, проклинают нас — живых. До нас доносится тяжелый грохот передовой. Словно столкнулись в схватке земля и небо. Сахнов не разрешает мне спать. Усну — замерзну.

Ничего не чувствую. Не было прошедшей краткой жизни. Не было весны. Не было Шуры. Ничего, ничего не было. Была и есть вот только эта замерзшая земля и голый череп. А меня не было и нет. Нет меня...

Я написал заявление о приеме в партию. Одну из рекомендаций дал наш комиссар.

Сегодня семнадцатое апреля. Уже три месяца и двадцать два дня, как мне исполнилось восемнадцать.

Перешли Волхов и заняли позиции на небольшом плацдарме. Немцы постоянно атакуют, пытаются сбросить нас в реку. За нами Волхов, широкий, полноводный. С тем берегом нас соединяет лишь один понтонный мост. Я набросал на бумажке схему плацдарма. Получился мешок, узкой частью приткнувшийся к реке.

Немцы беспрерывно бомбят понтонный мост, но все мимо.

Как только земля немного пообсохла, немцы начали усиленно атаковать наши позиции. Хотят нас в реку сбросить, утопить. Мы занимаем позиции неподалеку от деревни Мясной бор. Бу-

маги нет. Записи веду на полях «Западноармянских поэтов». Письма домой тоже пишу на страницах, вырванных из этой книги.

Ночи здесь белые, туманные... И в душе моей туман.

Деремся. Немца не видно: он прячется за холмами, за деревьями, в землю зарывается. Бьет по нас снарядами, поливает огнем из пулеметов и автоматов, с неба бомбы сыплет... Большой урон наносят нам немецкие снайперы — «кукушки». Стреляют в нас издали, с деревьев.

Ни дня не остаемся на месте. Все время меняем позиции на нашем узком плацдарме. Эти переброски, это постоянное рытье окопов полностью нас изматывают. Мы устали до такой степени, что на коротких привалах даже в грязь ложимся, лишь бы вытянуть ноги. Сахнов ворчит:

— Я этому Гитлеру глаза выколю... Что ему здесь надо?

Действительно, что ему здесь надо? Думал пригреться здесь? Задохнется он в этих болотах, задохнется. Мы-то в этом уверены.

На заре занимаем позицию у узкоколейки на опушке леса. Я ложусь на спину и — о чудо! — вижу, что небо чистое и голубое. В его лазурных глубинах еще поблескивают звезды. Где было до сих пор это небо?

Поляна напротив в огне, в разрывах снарядов. Немцы наступают. Я не вижу их: самолеты с бреющего полета сбрасывают на нас бомбы, прижимают к земле пулеметным огнем. Одного из нашего взвода убило, другого ранило, третий как сумасшедший забегал, заметался в поисках более надежного укрытия. Это Коля. Я схватил его за ногу, втащил в свой окоп.

— Дурень, куда несешься?

— Я? — удивился он. — Я бегал?

М в упор расстреливаем наступающего противника.

Командира нашей роты ранило. Эта весть быстро распространилась по всей роте. Наш политрук парень хороший, но он растерялся, не знает, что делать. А мы стреляем, стреляем... Поляна напротив — вся в дыму. Это от нашего огня.

Полдень. Пригнувшись идем во всю ширь поляны за нашим комвзвода. Ползти невозможно — минометы очень тяжелы. Сахнова ранило в ногу. Я упал на землю рядом с ним. Он застонал:

— Перевяжи рану, сынок.

Я вытащил индивидуальный пакет, перевязал ему рану. Он сказал:

— Если не потеряю много крови — выживу. В моем вещмешке есть три сухаря и бритва, возьми себе.

— Не надо, — сказал я, — не хочу.

— Возьми, — потребовал он. — Меня все равно отправят в тыл. Там я найду все, что нужно.

Я подчинился, взял сухари и бритву. Он спросил мой адрес.

— Если вылечат меня, вернусь в нашу роту, а если одноногим стану — твоих найду.

Я вырвал страницу из «Песен и ран» и написал на полях домашний адрес. На странице были стихи, которые любил напевать мой отец. Удивительное совпадение: мой адрес и «Воспойте горе мое».

Сахнов уполз в тыл. Я пошел вперед.

*Если горе мое поведать горам,—
Горы заплачут...*

Пули посвистывают над головой. Наших не видно, я ползу по их следам, задыхаюсь под тяжестью минометного ствола.

Дополз до невысокого холма. Головки клевера срезаны пулями. Я прижался к земле. Прямо перед носом в глубокой чашечке пырея копошатся две мушки. Под ними голубая постель, и солнце поблескивает на их крылышках. Как прекрасна жизнь!..

Я подобрался и перескочил через бугор. Рядом ударила пулеметная очередь, но я уже был в воронке. На дне ее—следы спекшейся крови.

К вечеру добрался до своих. От всей роты в живых осталось восемнадцать солдат и наш политрук. Я страшно устал, но все-таки вырыл себе маленький окоп. Хотя бы немного поспать...

Наш старшина принес кашу. И охнул:

— Так мало вас осталось?..

Мы протянули ему котелки. Каши на этот раз мы получили вдоволь.

— Ешьте... и долю убитых...

Я быстро съел свою кашу и влез в окоп. И тотчас же там, где сидели мои товарищи, разорвались две мины. Всего две мины.

Я выскочил из окопа, но от ужаса упал на колени: прямо передо мной лежал солдат без головы.

Из восемнадцати человек осталось лишь трое: я, Серож и наводчик. Четверых ранило, остальные убиты. Один все еще сжимает в руке ложку, у другого во рту кусок хлеба. Губы себе кусаю, чтоб не потерять сознания. Слышу голос политрука:

— Помогите раненым.

Один солдат сжимает по локоть оторванную руку, чтоб остановить кровотечение.

Я взял портянку, стянул обрубок его руки. И обрел способность говорить:

— Санитар!

Из-за деревьев выбежала девушка с санитарной сумкой на боку. Высокая, стройная... Господи, да ведь это Шура! Но она меня не узнает. Сколько месяцев мы не видели друг друга... А может, и узнала она меня, но не подает виду? Нет, не узнает. Ведь я оброс и такой грязный, растерзанный... И, наверное, от ужаса лица на мне нет.

Но может, я ошибаюсь, может, это не Шура? Но почему так бьется сердце?

Сегодня двенадцатое мая. Уже четыре месяца и четырнадцать дней, как мне исполнилось восемнадцать.

Мы заняли позиции на высоте. Из трех минометных батарей сумели составить лишь один взвод. Меня назначили командиром расчета и дали двух солдат. Этого достаточно.— вместе с Серожем нас четверо.

Немцы не сумели прорваться. Но уму непостижимо — как мы выстояли! Войну я представлял совсем иной, а вот она какая на самом деле... Мы думали, что никогда не придет война на нашу землю. Но вот сейчас война идет по нашей земле...

Почему?

Ведем оборонительные бои.

Как и раньше, мин не хватает.

Белая ночь.

Немцы снова массированно атакуют наши позиции. Самолеты сбрасывают листовки. Словно снег идет. Листовки эти мы подобрали, разрезали на узкие полосы, набили махоркой, цигарки свернули, закурили. Политрук отнял у Серожа немецкую листовку.

— Почему это у тебя?

— Бумаги-то для цигарок нет,— ответил Серож.

Политрук приказал нам собрать все листовки и сжечь. Кто спрячет листовку, будет наказан. Почему? Ведь мы их даже не читаем.

Несколько позади нас стоит «катюша». Так мы называем эти гвардейские минометы. Велика их слава. «Катюша» начинает стрелять. Все горит, взрывается на немецких позициях, взрывом переворачивается. Огненная завеса над немецкими окопами.

У нас кончились мины. Я обратился к командиру взвода. Он сидит в глубокой траншее, едва голова виднеется. Я сказал ему, что мины кончились. Он огрызнулся:

— Пошли кого-нибудь, пусть принесут, дурак.

Это «дурак» меня очень оскорбило. Почему дурак? Я отравил двух солдат за минами. Когда вернулся в свой окоп, в нем было полно воды. Котелком вычерпал воду, лег на сырую землю ждать, пока принесут мины.

Передовая грохочет. В небе очень много немецких самолетов. На фоне голубого утреннего неба они походят на чудовищных стервятников. В их клювах — гибель. Закрываю глаза, чтобы не видеть эту воющую, опускающуюся на нас смерть.

Глаза мои больше не раскрываются. Я так устал...

Проснулся от сыплющейся на меня земли. Неподалеку разорвался снаряд. Отряхиваюсь от земли, и меня снова одолевает сон...

Снова разрыв. Что-то давит на меня с ужасающей болью. Открываю глаза — темно. Поднимаю руку — и ощущаю над собой металл. В голове проносится: я уже мертв. Кричу, в пропасть проваливаюсь. Легко, очень легко я умираю...

Мне в лицо бьет дым. Вот те на! — перед глазами светло. Сажусь. Передо мной Серож и какой-то солдат.

— Жив?

Не знаю, жив ли, мертв? Нога ноет, бока болят. Серож вытаскивает меня из ямы.

— Над твоим окопом прошел танк.

Неподалеку от нас на опушке леса стоит подбитый танк. Я смеюсь над ним, чтоб не потерять сознание. Этот танк раздавил один из минометных расчетов. Из четырех ребят только одному удалось спастись. Ну а я просто чудом жив остался. Мой окоп очень узкий и глубокий. По бокам два толстых бревна. Гусеницы танка прошли по бревнам, не задев меня. Это и спасло меня. Наверное, мой бог-покровитель обратился в бревна в эту минуту.

В какие только переделки я ни попадаю и все равно остаюсь живым.

Серож дает мне воду. Подбегает Шура, бледная, с санитарной сумкой на боку. Она осматривает мою ногу, гладит меня по волосам, проверяет пульс. От нее несет лекарствами и запахом сырой земли. Я беру ее за руку. Она говорит:

— Кажется, кость на ноге треснула.

У Шуры руки холодные, мягкие. Серож ищет пилотку. Но ведь она была у меня на голове. А ее нет. Шура заполняет листок раненого, сует мне в карман.

— Ой, боже мой! Ведь ты под танком был!

Нога вспухла. Шура взваливает меня на спину. Мне становится не по себе, но утешаюсь тем, что я легкий, всего каких-нибудь килограммов пятьдесят. Значит, Шуре не очень тяжело. Я вдыхаю знакомый запах шуриных волос, моих губ касается золотистая завитушка, и я от удовольствия закрываю глаза.

Сегодня десятое июня. Уже пять месяцев и восемнадцать дней, как мне исполнилось восемнадцать лет.

Шура дотащила меня до медпункта, уложила на землю.

— Потерпи...— Она наклонилась, прижалась губами к моему лбу.— Потерпи, слышишь, не умирай...— И засунула мне в карман горсть махорки.— Не умирай...

Голос ее тревожен, прерывист. Я выплываю из тумана.

— Где ты была до сих пор, Шура?

— В аду,— вздохнула она.— И теперь тоже. За день до ста раненых выношу с передовой. Эта кровь меня душит...

Здесь, у медпункта, в редком кустарнике лежат раненые. Не выспавшиеся, усталые врачи в окровавленных халатах не успевают вовремя помочь всем. Сколько ран перевязала Шура, скольких вынесла с поля боя... Она снова ушла на передовую. Моя Шура, спасительница...

Над нами повисли немецкие бомбардировщики. Ходячие раненые бросились врассыпную. А кто был ранен в ногу, остался лежать, прижавшись к земле. Я закрыл глаза. Рядом кто-то завопил нечеловеческим голосом:

— Убивайте, кончайте!..

Ад крошечный. До полудня немцы пять раз бомбили нас. В воздухе разлетались растерзанные куски человеческих тел. Мимо меня прошел врач.

— Помогите, ради бога...

Никогда я не взывал к богу. Врач поднял меня на руки, уложил на повозку.

Повозка катится так, словно колеса ее квадратные. От тряски горит раненая нога. Стискиваю зубы. Немецкие истребители начинают поливать нас пулеметным огнем. Возницу убило, он вывалился из повозки. Я снял свой ремень, хлестнул лошадей и погнал их к ближайшему леску.

Только к вечеру мы добираемся до медсанбата. Я совершенно обессилен, еле шевелю руками, а ног вообще не чувствую.

В полевом госпитале врачи и медсестры удивились, познакомившись с моей справкой о ранении. Там Шура написала: «Попал под танк».

— Как это вы в живых остались?

Их удивление меня очень испугало. Мне не спится не столько от боли в ноге, сколько от страха. Как только вспоминаю себя под танком, волосы становятся дыбом.

Ногу мою перевязали. Профессор сказал, что мышцы поби-

ты, прижаты к костям. Это меня обрадовало: значит, кость не повреждена, значит, ногу не отнимут.

Из ветки выстругал себе хорошую трость и начал ходить, опираясь на нее. От безделья играю в шахматы, читаю газеты от корки до корки.

Грустные, однообразные дни. Можно одичать от этой лесной жизни.

Сегодня шестнадцатое июня. Уже пять месяцев и двенадцать дней, как мне исполнилось восемнадцать лет.

Моя нога полностью выздоровела.

Меня вызвали в штаб. Спросили, какое у меня образование, чем занимался на гражданке. Выслушали и сказали:

— Отправляем вас учиться на офицерские курсы.

— А где это?

— Рядом, вот в этом лесу.

Я согласился. Срок учебы два месяца. Значит, в сентябре окончу курсы и стану младшим лейтенантом. Неплохо.

Я на курсах.

Ну, ясно, войны здесь нет. Но восемнадцать часов в сутки занимаемся боевой подготовкой. Мне легко, я же был наводчиком при миномете и оружие это знаю отлично. Плохо то, что среди нас есть ребята, которые впервые держат в руках оружие.

Утро. По дороге на стрельбище услышал в лесу армянскую песню:

*Братец-охотник, ты бродишь в горах,
Горную ищешь козу...*

Сердце защемило от тоски. Побежал на голос. Четверо солдат рыли яму. Один из них был смугловат, с маленькими усиками, с слегка выпяченным подбородком, характерным для наших горцев. Боже мой, да ведь это наш Серож! Он отбросил лопату, обнял меня.

— Ну и встреча! Ты что, курсант?

— Курсант,— ответил я.— Минометчик. А ты?

— Пулеметчик.

— Хорошо поешь, Серож.

— Песня хорошая. Этой песней я столько армян разыскал...

Как только запою, кто-нибудь да придет на голос.

Он угостил меня махоркой.

— Уже куришь?— спросил я его.

— А что делать...

Я часто встречаю Серожа.

Еще и месяца нет, как мы занимаемся на курсах, но нам присваивают звание младших лейтенантов и отправляют на фронт.

— Там большая нужда в офицерах.

Группой отправились на правый берег реки Волхов, где расположена наша дивизия. На мне офицерский мундир, на петлицах по кубу. Я растерялся, когда какой-то солдат отдал мне честь. В офицерском мундире я веду себя сдержанно, с чувством большой ответственности. Моя жизнь приобретает новый смысл.

Сержа отправили в особый пулеметный батальон. Меня назначили командиром взвода, в котором я служил до ранения.

Кроме Сахнова здесь все ребята новые. Он неделю назад выписался из госпиталя и вернулся в наш взвод. Сахнов стал обращаться ко мне на «вы». Я удивился.

— Что за новости, Сахнов?

— Как же?!— в свою очередь удивился он.— Вы же теперь офицер, надо относиться к вам с уважением.

Я горько рассмеялся. Теряю дружбу Сахнова.

Что поделаешь?..

Командир нашей минометной роты, мужчина лет под пятьдесят, очень добродушный человек. Он долго беседовал со мной и, по всей видимости, остался мною доволен.

Полк стоит на правом берегу Волхова. Наши позиции на высоте, под нами река, на противоположной высоте — немцы. Там разрушенная церковь Звонка. За ее толстыми стенами немцы устроили огневые точки. Ведем позиционно-оборонительные бои.

Познакомился с солдатами моего взвода, с позицией, которую занимаем. Командир роты отправил меня на наблюдательный пункт заменить офицера-наблюдателя.

Мой наблюдательный пункт находится на крутом склоне берега. Три узкие бойницы смотрят в сторону противника. В средней бойнице — стереотруба. Сам блиндаж маленький, зато покрытие крепкое, искусно укрытое зелеными ветками. В блиндаже есть две скамьи и один стол.

Со мной — три солдата: один телефонист, двое других по очереди дежурят у стереотрубы.

Справа и слева от меня НП артиллеристов, да еще целый пехотный батальон в блиндажах.

Я уверен, что вот эти немцы, засевшие в Звонке, недолго останутся там, и, наверное, никто из них не вернется к себе на родину.

Рассвет.

На том берегу реки в низине я заметил какое-то черное пятнышко. Приблизил стереотрубой: неподвижно лежащий человек. Удивительно то, что он в нашей форме, и автомат у него советский.

Я поспешил «разбудить» его. Может, это перебежчик или немецкий разведчик в нашей форме? Стереотруба подсказывает, что человек прикинулся убитым.

Лежит он в низине, следовательно, наши пулеметы его не достанут, и автоматы тоже: до него метров шестьсот пятьдесят. Только навесным минометным огнем можно накрыть его.

— Сахнов, будь наготове.

Первые три мины я направил на такое расстояние от цели, чтобы осколки его не поранили. Цель неподвижна. Снова послал три мины. Потом еще и еще.

Человек вскочил на ноги и побежал в сторону немцев. Оттуда ему помахали рукой. Я перенес огонь глубже: человек должен быть уничтожен.

— Сахнов, беглый огонь десятью минами!

Человек, хоть и с трудом, но одолевает крутой склон. Вот-вот доберется до врага. Я волнуясь: огонь, огонь!.. Наконеч он падает прямо у немецких окопов и катится вниз по склону...

Я чувствую себя как-то нехорошо — человека убил. Но с чего это я так раскис? Ведь это был враг, он хотел убить меня, но убил его я. Все очень естественно. И все-таки я хотел бы, чтобы это естественное совершил кто-нибудь другой.

Загадочна душа человеческая.

На НП пришел наш политрук.

— Боевую службу вы несете отлично, — сказал он мне. — Не хотите вступить в партию?

— Я кандидат, — ответил я ему. — Но меня беспокоит один вопрос, товарищ политрук, примете ли вы меня?

— Почему бы и нет? — удивился политрук. — Вы храбрый солдат.

— Мой отец арестован. Я ненадежный.

Он в упор посмотрел на меня.

— Послушайте, не учите меня. — Он положил передо мной листок бумаги. — Пишите заявление.

Через неделю меня приняли в партию.

Сегодня одиннадцатое октября. Через два месяца и семнадцать дней мне исполнится девятнадцать.

Октябрьский праздник встретили на передовой. Нам дали по сто граммов водки, и посылки мы получали из тыла. Мне досталась посылка из Кировской области от какой-то старушки: «Сынок, да сохрани тебя бог». В моей посылке нет ни табака, ни водки. Видно, старушка моя не из богатых. Мне стало жаль ее. Но зато лучшее пожелание выпало на мою долю: «Сынок, да сохрани тебя бог».

Армян встречаю редко. И Сержа потерял из виду, не знаю, где он сейчас. Если встречаю армянина, спрашиваю:

— Новых песен не знаешь?

Земляки удивляются:

— Нашел время...

Неожиданно на наш НП заглянул командир полка. Я подтянул ремень и доложил обстановку. Он пожал мне руку, внимательно осмотрел наш НП.

— Вам хорошо известно расположение войск противника?

Я подвел его к стереотрубе и подробно рассказывал о немецких укрепленных пунктах.

— Неприступные позиции, — сказал он.

— Да, в лоб ударить мы не можем.

Он подарил мне бутылку водки.

— Через два дня атакуем Звонку. Эту высоту мы должны взять. Что скажете?

— Всем фронтом наступаем? — заинтересовался я.

— Нет, только силами нашей дивизии. Я хотел бы руководить боем с вашего э-ле. Он удобно и хорошо укреплен.

— Пожалуйста, товарищ майор. Но Звонка крепкий орешек.

тридцать один пулемет, двадцать восемь орудий и более ста минометов. Надо ударить всеми силами, окружить Звонку. Взять такую крепость силами одной дивизии, да еще в лоб, невозможно.

Командир полка закурил. На бумажном кульке с табаком я заметил армянские буквы и попросил дать мне. Он высыпал табак в карман, протянул мне бумажку.

— На что она вам?

— Это с моей родины.

На бумаге по-армянски было написано «Кафан». Я понюхал кулек и положил во внутренний карман. Майор растрогался.

— И все-таки мы должны взять Звонку. — И шепнул заговорщицки: — Когда день рождения товарища Сталина?

— Двадцать первого декабря.

— Сегодня семнадцатое декабря. День рождения нашего вождя мы должны встретить боевыми подарками. И этим подарком будет освобожденная восьмисотлетняя Звонка. Поняли?

— Так точно, понял.

Он встал, пожал мне руку:

— Будьте готовы.

Ночью спустились к берегу. Приказано незаметно перейти реку, под покровом ночи занять позиции на том берегу для подготовки броска.

Я со своими солдатами, минометами и телефонами жду сигнала к переходу.

Волхов здесь широк, он весь покрыт льдом, по которому стелется мягкое покрывало только что выпавшего снега.

Вперед пошли роты пехотинцев. Мы, минометчики, затаив дух, ждем, когда исчезнет в темноте черная цепь пехоты, чтобы последовать за ней. Но вот раздаются тревожные голоса:

— Лед не держит...

Это ужасно. Целый взвод пехотинцев проваливается под лед. Я в отчаянии: ведь у моих солдат тяжелый груз — минометы.

Но приказ есть приказ. И я в свою очередь приказываю солдатам переходить реку, держась на расстоянии тридцати метров друг от друга.

Вспомнилось благословение моей старушки, приславшей посылку: «...да сохранит тебя бог». И я ступаю на лед. Снег мягко захрустел под сапогами...

Слева от меня над головой вихри артиллерийских залпов. Стреляют и наши и немцы. Слышу треск разламывающегося льда и всплески воды. Мои минометчики пробираются рассеянным строем, далеко друг от друга. Лед держится.

Я еще не дошел до середины реки. Тяжелая волна хлестнула меня по ногам, смыла тонкий слой снега, и лед оголился. Ноги не слушаются меня. Если упаду, лед не выдержит тяжести моего тела, проломится, и тогда конец...

Солдаты, опираясь на винтовки, идут вперед. Но у меня нет опоры, и волна, несущаяся по льду, валит меня с ног.

*Таких, как мы, вода принесла,
И вода же опять унесет.*

— Помогите!

В тридцати метрах от меня с телефонной катушкой на спине

идет Сахнов. Он разматывает кабель и бросает конец на лед. Волна прибывает кабель к моим ногам, мне удается ухватиться за него и остановиться. Сахнов тянет меня за собой, как тянут за веревку упирающегося теленка.

Мой взвод перешел реку без потерь.

На берегу пехотинцы роют временные укрепления. Я выбираю позицию для минометов и приказываю срочно окопаться.

Мороз пробирает до костей. Земля замерзла, и верхний ее слой мы разрушаем топорами. Я приказываю вырыть глубокую яму, прикрыть шинелью и разжечь костер. По очереди посылаю к яме солдат немного погреться, обсушиться.

Перед нами на два километра голая равнина. И за ней сразу дыбится высота Звонки. Наша пехота рассыпалась цепью и широким фронтом ползет вперед.

Рассветает.

Я выбрал наблюдательный пункт на небольшом приторке и вместе с телефонистом устроился в снегу. Отсюда как на ладони видна узкая длинная равнина и Звонка со своими укреплениями.

Началась артподготовка. Наш огонь существенного вреда Звонке не причиняет. По-моему, брать Звонку в лоб дело невыполнимое.

Пехота бросилась в атаку. Гитлеровцы открыли пулеметный и минометный огонь. Снег и земля перемешались, закипели. Я схватился за голову. Ведь уничтожают неприкрытую в голом поле нашу пехоту!..

Я со всей тщательностью исполняю данный мне приказ: держу Звонку под сильным минометным огнем. То же самое делают и все остальные батареи. Но нам не удастся сломить огневой мощи противника.

Наша первая атака захлебнулась далеко до подступов к Звонке. Я вижу, что наши ребята идут в атаку с дикой яростью, но что может сделать голое мужество, если перед тобой неприступная крепость, если на каждом квадратном метре разрываюся по пять снарядов и мин.

Наша вторая атака началась после полудня. И опять безрезультатно. Точно так же мы штурмовали и на второй день, и на следующий.

Вечером четвертого дня поступил приказ отойти на наши старые позиции. Несколько сотен трупов мы оставили на берегу. Снег идет...

Но тем не менее мы отметили день рождения Сталина. Прослушали лекции в окопах, а вечером двадцать первого декабря состоялось торжественное заседание нашего полка.

Неподалеку от нашей батареи соорудили трибуну, украсили лозунгами и большим портретом Сталина. Из каждого батальона пришли представители. Произносились воодушевленные речи, а затем было принято приветственное письмо товарищу Сталину.

После торжественной части для нас был дан концерт силами артистов, приехавших на фронт из Узбекистана.

Немцы обстреливают нас. Я встревожен: что произойдет, если

снаряд угодит в наш зеленый навес, под которым собралось около пятисот человек.

Концерт окончился, и мы разошлись по своим подразделениям. По дороге к НП рядом со мной разорвался снаряд. Я успел растянуться на земле, но воздушная волна, приподняв меня, швырнула о ствол дерева, накрыла землей. Я потерял сознание...

Пришел в себя в медсанбате. Понял, что контужен. В ушах шипит, словно сквозь них несется река. Голоса доносятся, как из колодца. Оглох?

Меня отгравили в госпиталь.

Мне-то еще хорошо, всего лишь контужен, а связист, который шел рядом, убит.

Сегодня двадцать третье декабря. Через пять дней мне исполнится девятнадцать.

Верю, что глухота пройдет.

Меня тошнит, все тело болит неимоверно, язык еле ворочается. Но все равно, я верю, что буду слышать.

Госпиталь наш в лесу. После полугодового пребывания под открытым небом я впервые попадаю в нормальные человеческие условия: окна, кровать, постель.

Меня искупали, побрили, переодели в чистое белье. Спал без просыпу часов десять. Проснулся и оторопел от удивления: рядом со мной стоит Шура. Она что-то сказала, но я не расслышал.

— Говори громче, Шура.

И я услышал ее голос. Он шел издали, но я ему ужасно обрадовался. Значит, я не совсем оглох. И подскочил в постели.

— Шура, мне кажется, я слышу!

И услышал хохот раненых, лежащих рядом со мной в этой большой просторной комнате. Нет, я это не услышал, а увидел. Шура наклонилась надо мной. Я спросил, почему ребята смеются. Шура закричала:

— Ты что, смеха в жизни не слышал? Тебе уже девятнадцать, если не ошибаюсь.

— Да, через пять дней стукнет девятнадцать. А тебе?

— Женщин о возрасте не спрашивают.

— Что ты здесь делаешь?

Ответ Шура написала на листке. Видимо, не хотела кричать, чтобы все услышали.

Привезли майора, главврача нашего полка. Он легко ранен.

— А почему не возвращаешься?

— Майор не отпускает.

Я с ужасом посмотрел на Шуру: вышла замуж за майора?

Шура повела меня к майору. Тот осмотрел уши, нос, горло, покачал головой, заорал:

— Как слышишь?

— Уже лучше, — ответил я, — надеюсь, дней через пять быть на передовой.

Он что-то сказал, я не услышал, попросил повторить громче.

— А почему именно через пять?

— Можно и раньше, — ответил я. — Двадцать восьмого декабря день моего рождения. И напрасно меня привели сюда. От контузии я излечился бы и у себя на эн-пе.

Майор отвел меня к «ухо-горло-носу». Я ему сказал, что знаю более простой способ излечения от контузии.

— Дайте мне поспать три дня, и все пройдет. Полтора года недосыпаю.

«Ухо-горло-нос» улыбнулся.

Шура отвела меня обратно. Она смотрит на меня виновато, походка у нее неуверенная, испуганная. Я понял, что майор ей не нравится.

— В ловушку попала, Шура? — позлорадствовал я.

— В какую ловушку? — побледнела она. — Что ты хочешь сказать?

— Ничего.

Я попросил Шуру не приходить ко мне по крайней мере три дня. Буду спать.

Уже пять дней, как я в госпитале. Чувствую себя совершенно здоровым, голос полностью восстановился, слух тоже. Только левое ухо слегка побаливает.

Шура принесла мне лекарство. Я читал книгу и не посмотрел на нее. Она немного постояла и вышла.

Я обманул медсестру, что иду на полевую почту и попросил на два часа дать мне одежду. И подмигнул ей. Она покраснела и принесла мне одежду. Я оделся и бросился вон.

Сегодня двадцать седьмое декабря. Завтра мне исполнится девятнадцать лет.

Много снега, тяжелая зима.

Я прошел немного пешком, потом остановил грузовик и забрался в кузов. Что за чертовщина! В кузове сидят шестеро солдат, Шура и майор. Майор с горечью сказал:

— А, молодой человек, видите, мы снова встретились. Куда направляетесь?

— На фронт, куда еще...

— А я получил новое назначение, вот перебираюсь. Ну, что скажете?

А что я должен говорить? Шура сидит хмурая, не поднимает головы. Я тоже не смотрю в ее сторону. Подумаешь! Очень нужна она мне! И она и ее майор, получивший новое назначение.

Завтра день моего рождения. Хорошо, что слух восстановился, что я убежал из госпиталя, и вот сейчас зима, приятный морозец, и на мне нет вшей. Майор человек веселый.

— Э, сынок, ты вряд ли найдешь свой полк. Он ушел в неизвестном направлении.

Дорога проходит через замерзшее болото. Деревянный настил из пригнанных друг к другу бревен, которые время от времени подсакивают под колесами машины. Я не смотрю на Шуру. Я соскучился по своему наблюдательному пункту. Неужели не найду своих солдат, как говорит майор?

Майор стар. Бедная Шура.

В штабе армии мне приказали остаться в офицерском резерве до того, как отправят в нашу дивизию.

Жаль, что день рождения я проведу без Сахнова.

В большой землянке разместилось человек тридцать. Я был самым младшим. Мне сказали:

— С этой минуты вы будете старшим группы.

— Почему? — запротестовал я. — Среди вас есть даже полковник.

— Потому что вы фронтовик, а мы нет.

Вся группа только что прибыла из тыла. Пополнение.

Я выбрал койку рядом с входом. Думаю о Шуре и ее старом поклоннике. Шура, конечно, майоровская ППЖ, что на фронтовом жаргоне означает — походно-полевая жена. О чем думает Шура? Зачем связалась с этим стариком?

Меня тронул за плечо сидевший рядом подполковник.

— Топить нечем. Отправиться за торфом?

— Я сам пойду.

Подполковник возразил: нет, он не позволит мне, своему начальнику. Он попросил дать ему в подмогу еще кого-нибудь. Мой взгляд остановился на одном из новеньких. Тот тут же вскочил. Оказался полковником.

— Есть отправиться за торфом.

Я вспотел.

Утро. День моего рождения.

Ищу армян. Мне показали на одну землянку:

— Там, кажется, есть кто-то с Кавказа.

Я толкнул дверь, спустился по деревянным ступенькам. В землянке коптит лучина, смутно освещает чью-то лысину. Капитан встал. Глаза и нос южанина, но не армянина. Я хотел было выйти из землянки, как кто-то обнял меня и назвал по имени. Я чуть не вскрикнул. Это был мой односельчанин Баграт Хачунц. Он приходится мне родственником по материнской линии. В последние годы он работал в Ереване на партийной работе.

— Баграт, и ты здесь?!

— И я.

Ему под сорок. Военная форма сидит на нем очень ладно, и он совсем не кажется пожилым. Я словно отца нашел.

— Когда ты приехал?

— Три дня назад.

— Почему ты приехал? Не мог остаться в тылу?

Он рассердился.

— Воевать приехал, родину защищать... Для чего же идут на фронт?..

— Политработники тоже должны участвовать в бою? — заинтересовался плешивый капитан.

— Да, конечно, если они на фронте, а не в тылу.

В глазах плешивого капитана были и удивление и испуг от всего того, что он слышал. Баграт Хачунц достал из вещмешка бутылку нашего коньяка и банку американских мясных консервов.

— Везет тебе, — сказал он. — Последняя.

Он пригласил и других офицеров, разлил коньяк по жестяным банкам и алюминиевым кружкам и сказал:

— Я знаю тебя со дня рождения. Ты честно жил на этом свете девятнадцать лет. Сто лет тебе жизни!

Он повернулся к остальным:

— Я горжусь этим юношей, моим земляком. Мы, армяне, всегда были верны советской власти. Так выпьем же за эту верность.

Мы долго беседовали. Это самый счастливый день моей жизни. Баграт был ко мне очень добр и внимателен.

Сегодня двадцать восьмое декабря. Мне девятнадцать лет.

По вечерам я выстраиваю своих старичков и веду на кухню на очередную раздачу похлебки из мерзлой капусты и картофеля. Старички стараются идти четким шагом и, если я приказываю, то начинают петь:

*Ты лети, лети, мой конь,
Пока не споймаю...*

Они покорно протягивают свои котелки девушкам-поварихам, достают из карманов припасенные куски хлеба и едят горячую похлебку. Потом, не ожидая команды, выстраиваются и продолжают прерванную песню:

*Как споймаю, зануздаю
Шелковой уздой...*

Рядом с этими добрыми, умными старичками я чувствую себя спокойно.

Вечер. Мы снова протянули котелки за нашим ужином. Одна из девушек сказала:

— Здравствуй.

Я вздрогнул. Да это же Шура! В белом халате, в белом чепце. Она взяла мой котелок.

— Сегодня я дежурю на кухне по санитарной части.

Сказала и протянула мне полный котелок вареной картошки, политой сверху маргарином.

— Свежая картошка, для начальства...

— Шура, а почему ты здесь?

— Мой старичок назначен сюда главврачом. Привязал он меня к себе.

— И ты подчиняешься ему? — с нарочитым равнодушием спросил я.

Она пожала плечами:

— Трудно сказать, кто кому подчиняется. Ты очень наивен... И не все так, как ты думаешь...

Я хотел поделиться картошкой с Багратом, но по дороге все съел. Баграт начал бы расспросы: где взял, кто дал? Очень щепильный человек.

На следующий вечер Шура снова накормила меня «начальственным» обедом.

— Из-за тебя пришла на кухню, подкрепись немного... Моя землянка третья слева. В одиннадцать часов приходи ко мне.

— А твой майор?

Она нахмурилась, сунула мне в карман два кусочка сахара.

— А при чем тут он? Я сама себе хозяйка.

До одиннадцати часов с Багратом и двумя офицерами играли в домино. В одиннадцать часов я пожелал им спокойной ночи и вышел.

Зимняя звездная ночь, мороз. Я подошел к шуриной землянке и... прошел мимо.

Спокойно заснул в своей постели.

Утро. На кухне Шура устроила переполох: санитарный контр-роль. Мой котелок она не взяла.

— Твою долю другой съел, дурак.

На обратном пути мои старички пели. И почему я называю их старичками? Самому старшему из них сорок пять лет. А может, я тоже стар? Они поют, а мне кажется, что они кричат хором:

— Ду-рак!

И все-таки я ни о чем не жалею.

Вечером пришли ко мне в гости Баграт и его лысый товарищ. Курим, разговариваем. Здесь же все мои старички.

Неожиданно в нашу землянку вошел генерал-лейтенант, командующий армией. Я вскочил на ноги.

— Смирно!

Вместе с генералом еще четверо. Генерал поздоровался с нами, присел на нары.

— Ну, товарищи, расскажите о ваших заботах, я слушаю.

Вперед вышел полковник, который постоянно ходил за торфом, и попросил скорее дать ему назначение. Генерал кивнул головой:

— Добро.

Майор, адъютант генерала, записал фамилию полковника. Еще девять человек выразили ту же просьбу. Один капитан попросил о повышении в звании. Четверо других заговорили о своих орденах, которые не получили, хотя указ о награждении есть. Генерал кивал головой:

— Добро.

Потом он посмотрел на меня.

— А вы, молодой человек, тоже спешите попасть на фронт?

— Так точно, товарищ генерал, — ответил я. — Очень уж соскучился по фронтовым друзьям.

— А если вас отправим учиться в военную академию?

— Не пойду. Я и без того умею воевать. Я же фронтовик.

— А... — улыбнулся генерал. — Армянин? По акценту заметно. — Он повернулся к Баграту: — А у вас какая просьба, товарищ капитан?

— Мне тоже хотелось бы поскорее попасть на фронт.

Генерал направился к выходу. Перед ним вырос лысый капитан и глухо промямлил:

— Я русский язык плохо знаю, отправьте меня в тыл.

Генерал задумался, кивнул головой. Потом повернулся ко мне:

— Скажите этому товарищу, чтоб завтра явился в штаб армии, я его отправлю в тыл.

Я наклонился к Баграту.

— Ты тоже скажи, что русский знаешь плохо, пусть и тебя отправит в тыл.

Он так сжал мою руку, что чуть не оторвал. После ухода генерала он взорвался:

— Да как ты посмел советовать мне такое, молокосос?! Я пришел воевать, ты понимаешь это? Я коммунист, понимаешь?

Я попросил у него прощения.

Через три дня нас отправили на фронт. Мы с Багратом договорились переписываться, обнялись и расстались.

Неужели наступил новый год? Как я не заметил? Я снова

встречу мою Шуру. Если встречу, больше с ней не расстанусь, нет.

Сегодня седьмое января. Уже десять дней, как мне исполнилось девятнадцать.

Фронт близок. Я перешел Волхов по понтонному мосту.

Места знакомые. Вон развалины Мясного бора, вон поле, где меня впервые ранило... Весной тут еще сиротливо стояли кирпичные трубы русских печей. Сейчас и их нет.

Снег, снег, снег...

На узком плацдарме за Волховом вместе с другими сражается и наша дивизия.

В штабе меня спросили:

— Давно получили звание младшего лейтенанта?

— Месяцев шесть назад.

— Время уже дать вам лейтенанта.

Я не возражал.

В штабе дивизии мне вручили первую награду — орден Красной Звезды.

— За бои под Звонкой. Есть у вас фотокарточка?

Нет. Вместо фотокарточки в орденской книжке написали: «Действителен без фотокарточки». А почему за бои под Звонкой? Ведь мы ее не взяли. Но напрасно я ломаю голову над подобными вопросами. Начальству виднее.

Меня отправили в наш 261-й стрелковый полк.

Наши оборонительные линии находятся в трехстах метрах от берега. Между нами и противником сто метров ничейной земли. Немцы время от времени обстреливают наши позиции. Снаряды разрываются на ледяной спине реки, вздымают фонтаны воды.

Из землянки вышла девушка с корытцем в руках, плеснула мыльную воду на сугроб и убежала. На дверях землянки выведен красный крест. Вдруг я понял, что это была Шура. Она меня не заметила. Когда успела приехать сюда? Опять она со своим старым врачом или ушла от него? Не хочу думать об этом. Хорошо, что Шура меня не заметила. А может, заметила, но не подала виду? Кто знает?

Рядом с нами батарея гаубиц капитана Гопина. Часто играем с ним в шахматы. Он высокого роста, с большим носом. Чем-то мне напомнил гусаров, которых я видел в кино. Когда выигрывает партию, кричит своим тонким голосом:

— Ну что, опрокинем по маленькой?

Один черт знает, откуда он достает водку.

Как-то я сказал Гопину, что очень уж спокойно он живет. Гопин обиделся.

— Это в каком смысле?

— Не очень часто слышим голос твоих гаубиц. Боишься, что немцы засекут?

Гопин закусил губу, вскочил с места, закричал:

— Пятьдесят снарядов! Залп!

Берег загрохотал. За две минуты гаубицы выпустили пятьдесят снарядов. Гопин яростно кричал:

— Огонь! Бей вшивых фрицев!

Зажав уши, я убежал от него.

Несомненно, у немцев тоже есть свой Гопин. Он начал обстреливать наши позиции. Ужасный день. Землянка трясется. Даже Сахнов сжался: вот-вот в землянку ударит снаряд.

Перестрелка длилась четыре часа.

— От батареи Гопина сейчас остались рожки да ножки,— сказал Кравцов.

Я испугался. Ведь это я толкнул его на дуэль. Выскочил из землянки и бросился бежать к батарее Гопина. А бежать невозможно: вся земля в свежих воронках. Добрался. Увидел Гопина.

— Что?!— закричал я.— Потери большие?

— Ерунда,— махнул он рукой.— Одну лошадь убило. И гаубицу задело.

Снова ведем позиционные бои.

Вечер. Кравцова, меня и одного лейтенанта-пехотинца вызвали в штаб полка.

— Поступаете в распоряжение первого батальона. На три дня.

— Почему?— спросил Кравцов.

— На месте узнаете.

Крыша землянки комбата на уровне земли. Из-под снега тянется струйка дыма. Согнувшись, вошли. Комбат кисло посмотрел на нас. Его лицо красное в свете копилки.

— Ну что, пришли? А почему у вас такой постный вид?

— Все в порядке, товарищ майор,— сказал Кравцов.

— Ну слушайте,— сказал комбат,— один из моих взводов, словно слепая кишка, находится в глубине немецких позиций. Там очень тяжелое положение. Командир взвода убит. Один из вас должен временно заменить его.

Лейтенант-пехотинец закашлялся:

— Я бы с удовольствием пошел, но у меня температура. Майор его выгнал:

— Убирайся в мертвецкую, покойник!

Потом вопросительно посмотрел на Кравцова:

— А вы?

Кравцов тоже нашел повод:

— Я близорукий, товарищ майор. У меня есть документ. Если прикажете, пойду, но по ночам я как слепой.

Тут я хмыкнул. Майор зло посмотрел на меня.

— Может, ты тоже слепой, глухой или хромой?

— Я здоров, товарищ майор. Готов принять взвод.

Кравцов ушел. Майор поспешно объяснил задачу и отправил меня к своей «слепой кишке».

Темно и холодно. Я спрыгнул в траншею и пошел. Мертвая тишина. Только пули свидетельствуют о том, что жизнь существует.

Метрах в ста пятидесяти трескочет немецкий пулемет. Иду согнувшись. Трассирующие пули очень красивы. Так и хочется приподняться и схватить одну из них на лету.

В первом блиндаже «слепой кишки» шесть солдат, один пулемет и один миномет. Я поговорил с ребятами и ползком отправился дальше.

Центральный блиндаж — просто собачья конура. Сержант и четверо солдат, словно кильки в бочке. Небранные, уставшие, грязные от копоти.

Встать во весь рост здесь невозможно: потолок очень низкий. И настил совсем непрочный. Достаточно одной малюсенькой мины, чтобы разнести все к чертям. Я удивляюсь, что эти пятеро все еще здесь держатся. В таких страшных условиях, под непрерывным огнем противника они превратились в ходячие призраки. Это уже не солдаты.

Труп убитого лейтенанта лежит на снегу.

— Почему не похоронили?

Сержант вздохнул:

— У нас одиннадцать трупов. Под обстрелом не можем похоронить.

Я поднял солдат, приказал сложить из снега стенку. Они удивились:

— Из снега?

— Да,— ответил я,— такую стенку шириной в метр пуля не пробивает, запомните это. И возьмите себя в руки. Ведь вы люди...

Вокруг блиндажа поставили стенку: два метра толщиной, два высотой. От работы согрелись. Ребята даже шинели скинули с себя. И оживились.

Утром я приказал углубить пол блиндажа. И этот мой приказ показался солдатам странным. Но приказ есть приказ.

Земляной пол блиндажа был мягким, и за два часа мы его разрыли. Я встал во весь рост.

— Ну, теперь разогните спины. Это ни на что не похоже — жить согнувшись.

— Да,— сказал один солдат,— удобная могилка.

— И могила должна быть удобной.

В углу блиндажа валялась помятая жестяная печь. Я слегка подправил ее, поставил в середине блиндажа. Сержант заволновался:

— Немцы увидят дым, сотрут нас в порошок.

Конец трубы я засунул в снежную стенку. Когда развели огонь, дым и искры растворились в снегу. По блиндажу разлилось тепло. Солдаты разделались, разулись, распрямили плечи. Я растопил в котелках снег, нагрел воду, дал солдатам свою бритву и мыльницу и приказал побриться.

Потом снова нагрели воду и по очереди выкупались.

Ну, слава богу, наконец, мои ребятки приняли человеческий облик.

На внутренней круглой площадке нашей снежной крепости мы захоронили трупы убитых.

Короткий зимний день погас как-то сразу.

Немцы обрушили яростный артиллерийский огонь на узкий перешеек, связывающий нас с тылом. Звякнул телефон. На проводе командир полка.

— Что там у вас происходит?

— Немцы отрезали нас своим огнем. Думаю, что вот-вот начнут атаку.

— А как вы?

— Будем защищаться. Прошу прислать в мое распоряжение отряд автоматчиков.

И связь тут же оборвалась.

Я вызвал всех солдат и расставил их у снежного барьера.

У нас три ручных пулемета, автоматы, винтовки, ящик гранат и один миномет малого калибра. В другом случае этого было бы достаточно, но у нас всего лишь жалкий блиндаж, да и снежный барьер — преграда непрочная.

Я подготовился к бою, не надеясь, что получу подкрепление: перешеек под сильным огнем, пробраться невозможно.

Ночь раскаленного свинца. Никто из нас не заходит в блиндаж, даже погреть руки. Никто не хнычет, не жалуется, что за весь этот день съел один лишь сухарик да выпил стакан кипятку.

Одиннадцать часов ночи.

Заметили белые точки, ползущие в нашу сторону. Потом такие же точки появились справа и слева. Все правильно: хотят нас взять живьем. Я приказал подпустить их ближе.

Нас семнадцать человек, вооружение неплохое. А сколько фашистов нас окружает, этого я определить не могу. Держась за холодную гашетку пулемета, я смотрю на снег, отдающий синевой. По нему ползут белые точки, словно снег ползет по снегу. Немцы в маскировочных халатах. Подо мной трупы захороненных нами солдат. А меня похоронят?

Вдруг в тридцати метрах я заметил движущийся сугроб. Один? Нет, кажется их много. Ползут, зарывшись в снег. Я нагнулся, взял гранату, сорвал предохранитель и бросил в «сугроб».

Потом нажал гашетку и выпустил почти весь диск. Начали стрелять и мои солдаты. Заработал миномет.

Это уже настоящий бой.

Преимущество у нас. Держим круговую оборону.

Немцы не могут обстреливать нас из орудий из страха задеть свои атакующие ряды. Мы же не даем атакующим поднять головы.

Бой длился часов пять. А может, и шесть. Не могу определить время, не до этого. Перед нами смерть, не признающая время, и мы сами тоже смерть. Так исполняй свой долг, человек, защищай жизнь!

Не чувствую ни холода, ни голода, даже курить не хочется. Только во рту пересохло. Беру горсть снега, сую в рот.

Над немецкими позициями взвились в небо одна красная и две зеленые ракеты. Ну, тут голову ломать не приходится, все ясно: это сигнал к отступлению. Я приказал прекратить огонь.

Немцы исчезли мгновенно. Умолкла и артиллерия. Мы все ушли в блиндаж. Сейчас немец перенесет огонь своих батарей на наши головы.

Наш минометчик не успел убрать свой «самовар». Его убило первым же снарядом. Я поднял его на руки, метнулся в блиндаж. Началось...

Артиллерийский обстрел кончился только под утро.

Ну слава богу, у нас лишь один убитый.

День прошел «спокойно». Солдата, принесшего нам еду, убило прямо у блиндажа. Пуля попала в висок. Восемь буханок хлеба в вещмешке залиты кровью.

За снежным барьером сержант насчитал двадцать три трупа.

— Неплохо мы поработали...

Он пополз за барьер и притащил один труп. На груди немца висели значок гитлерюгенда и Железный крест. Мундир новенький, немец гладко выбрит. Я приказал сержанту похоронить его подальше от могилы наших ребят.

Сегодня пятое февраля. Уже месяц и восемь дней, как мне исполнилось девятнадцать.

Разыскал землянку Баграта. Он обрадовался, накрыл стол, даже водку выставил по обычаю предков.

— Ну что, на вашем участке все еще тяжело? Знаю, знаю. Но вы должны все это вынести... Надо...

Он водки не выпил: ее было мало, оставил мне. В землянке было сухо и чисто.

— А если вдруг испугаешься чего, на глаза мне не показывайся.

Я вспомнил нашу «слепую кишку». Кажется, я там страха не испытывал.

Как и всегда, Баграт спел для меня «Крунк». Голос у него не большой, низкий, но поет он всем своим нутром. Он поет, я пью водку и погружаюсь в забытие.

*Журавль, есть ли весточка
С родины моей?*

Нет у него весточки, нет. Уже сколько месяцев не получал я весточек из Армении, с согретой солнцем земли армянской. Как ты там? Кто из сынов твоих пашет землю? Есть ли у тебя хлеб?

Душа горит. Голос Баграта эхом отдается в моих ушах.

— Будь спокоен, сынок, Армения будет жить...

Уже поздно. Мне надо идти. Баграт дает мне табак и тонкую бумагу. Прощается он со мной мрачно и строго:

— Береги себя.

Наш полк участвует в прорыве блокады Ленинграда, южнее Ладоги.

Целый месяц идут ожесточенные бои.

Блокаду прорвали. Измученный город соединился с Большой землей узким перешейком. Эта полоска тянется по южному берегу озера.

Ведем на нашем участке тяжелые бои, закрепляем позиции.

К нам зашел командир батальона. В тесном, полутемном блиндаже он начал объяснять мне задачу завтрашнего боя.

— Давайте поговорим на моем эн-пе, — сказал я ему. — Так будет удобнее.

Мой НП находится на высоком дереве. Оттуда хорошо просматриваются немецкие позиции.

Вместе с комбатом поднялись по лестнице на сосну. Здесь у меня есть телефон. Майор просмотрел начерченный мной план расположения немецких огневых точек.

Боевая задача ясна: поддержать огнем штурмовые группы.

затем выйти на большую шоссеиную дорогу, что проходит в шести километрах от нас.

— Наш полк должен обязательно выйти на шоссе, — сказал майор. — Тем самым мыотрежем противника от его основных сил.

Я спросил, как с танками. Он ответил:

— Три танка подбросили. Маловато. В общем-то надо брать шоссе собственными силами. Как думаете, удастся?

— Ну, воевать мы уже научились, — сказал я. — Надеюсь, что удастся.

Ко мне зашел Сахнов. Радость так и искрилась в его глазах. Командир полка разрешил ему и еще трем добровольцам привести «языка».

Ночь. Сахнов со своей маленькой группой пополз по ничейной земле. Я остался на своем НП.

Темно. На немецких позициях тихо. Неужели Сахнова и его товарищей поймали? Я вспомнил молитву нашей «слепой кишки».

— О, боже наш Иисус Христос, спаси!

К рассвету я заметил тени на ничейной земле. Ползут в нашу сторону. Я поспешил им навстречу. О боже, какая радость! Сахнов со своими товарищами тащат фрица. Лицо Сахнова в крови. Его левый глаз вспух, кровоточит. Но Сахнов радостно крикнул:

— Не беда, сынок! Пока заткнули рот этому сукиному сыну, успел трахнуть меня рукояткой пистолета.

Прибежала Шура. Господи, как Шура попала к нам в полк, когда? Может, убежала от своего старичка? А если убежала, почему пришла именно в наш полк? И почему она преследует меня?

Шура наложила повязку на глаз Сахнова. Он даже не застонал. Шура повела его в полевой госпиталь. Когда она вернулась, я спросил ее:

— Твой старик тоже пришел в наш полк?

— Хотел, но я не разрешила. Оставила я его.

— Изменила...

Шура схватила меня за плечи.

— Не убивай меня своей дуростью!

Она всхлипнула и убежала. Я не посмотрел ей вслед. И не сумел даже закурить папироску: руки дрожали.

«Язык», добытый Сахновым, оказался очень ценным.

Утро. Наш полк пошел в наступление. Для немцев это было неожиданным. С первого же удара мы ворвались на их позиции.

Полдень. Мы вышли к шоссе. Идти дальше нет сил. Окопались. Думаю о Шуре. Наверное, я сильно обидел ее. Но что мне делать?

Сегодня двадцать восьмое февраля. Уже два месяца, как мне исполнилось девятнадцать.

Война, война...

Перевел Л. БОЯДЖАН